

Переводы и комментарии

ГЛАВЫ 6–7 ИЗ КНИГИ «ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И ДИКТАТУРЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПАРАТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»¹

Станислав Андрески

Глава 6. Об истории, теории и объяснении²

Видимо, не случайно автором этого впечатляющего научного труда является редкий экземпляр почти исчезнувшего племени учёных-джентльменов, от которого произошли выдающиеся представители английского ума. Потрясающего широкий спектр его знаний не может не быть связан с тем благоприятным обстоятельством, что именно он, Перри Андерсон, смог взяться за столь амбициозный труд, не тратя время на бюрократические проволочки. Его преданность собственной жизненной миссии пронизывает Этот научный труд пронизывает преданность автора собственной жизненной миссии, в которой проявилось весьма показательное отличие полученных выводов исследования от помпезных трудов, санкционированных бюрократией. Однако сложность классификации этого научного труда придаёт его автору статус любителя знания в исконном смысле слова, которого не интересуют административные границы между дисциплинами и протесты против «междисциплинарного» характера его «проекта».

Дональд Макрей оценивает научные труды Андерсона как «наиболее удачную сравнительную социологию со времён Зомбарта». В конечном счёте, обоснованность оценки, кто лучше – Зомбарт или Андерсон – зависит от того, что имеется в виду под «сравнительной социологией», в отличие от «сравнительной истории» или «исторического синтеза». К тому же характер текста весьма не однороден: некоторые его части являются преимущественно хронологическими, тогда как в других акцент сделан на сравнении, типологии и анализе, которые можно назвать «каузальными», если смысл этого слова не понимать слишком строго.

Особенно ярко приверженность Андерсона английской традиции проявляется тогда, когда речь идет о материальной основе научной деятельности. Но он совсем не англичанин, едва вопрос касается пристрастия к внедрению социологического подхода в написание истории или выхода такого сочинения за пределы истории Европы. Другие книги английских авторов с аналогичным хронологическим и пространственным охватом отличаются характер-

¹ См.: Andreski 1992: 48–62.

² Это отредактированная обзорная статья об эволюционной истории феодализма и абсолютизма Перри Андерсона [Anderson 1974a; Anderson 1974b]. Общим предметом интереса является анализ разновидностей истории и исторического объяснения.

ным способом изложения и популяризации. Правда, Арнольд Дж. Тойнби охватил ещё больший промежуток времени и охват пространства, но он сохранил приверженность ретроградной аллергии оксфордского историка к социологическим идеям, несмотря на брошенный вызов в плане целей и диапазона приводимых данных. Тем самым Тойнби попытался создать амбициозную теорию истории с нуля, вместо извлечения пользы из достижений и ошибок предшественников, основателей и современных специалистов в сфере сравнительной социологии. В итоге теория Тойнби осталась расплывчатой, незавершённой и абстрактной, несмотря на его феноменальное знание «фактов», хотя в этом отношении он был ограничен традиционной повествовательной историографией. Напротив, Андерсон изучал не только Маркса, Дюркгейма и Малиновского, но и Макса Вебера и Отто Хинтце, когда он работал научным сотрудником на факультете социологии в Университете Ридинг. Более того, у него нет таких амбиций, как у Тойнби, – и потому он меньше подвержен риску провала, поскольку вместо попытки сформулировать совершенно новую всеохватывающую теорию он стремится интерпретировать историю в свете того, что почерпнул у Маркса, Вебера, Хинтце и других теоретиков.

Подход Андерсона почти полностью совпадает с традицией немецкой науки классической поры, которая не только игнорировала, но и сознательно преодолевала границы между историей и социологией. Как уже говорилось, Макрэй сравнивал труды Андерсона с трудом Вернера Зомбарта *«Современный капитализм»* (*Der Moderne Kapitalismus*) (первое издание которого вышло в 1902 г., последнее – 1928 г.). Этот труд в большей степени был трудом историка, который полагается главным образом на первоисточники, тогда как Андерсон обращается к книгам и статьям более современных писателей. Возможно, ближе будет параллель с работой *«Культурная история как социология культуры»* (*Kulturgeschichte als Kulturosoziologie*) Альфреда Вебера (1930-е гг.) С одной стороны, она более содержательна, поскольку в предмет изучения автора входит Древний Ближний Восток, который не рассматривает Андерсон, но в то же время труд Альфреда Вебера основан на гораздо более простой основе исторических знаний. В качестве иного предмета сравнения можно привести трёхтомный труд *«Определение местоположения по настоящему»* (*Ortsbestimmung der Gegenwart*) Александра Рюстова – прямого наследника Альфреда Вебера в Гейдельберге. Однако из всех известных мне работ наиболее похожи на книги Андерсона три тома Франца Оппенгеймера, посвящённые социально-экономической истории Запада, которые входят в последнюю часть его восьмитомной *«Системы социологии»* (*System der Soziologie*). Оппенгеймер тоже был социалистом и считал себя последователем Маркса, но, в отличие от Андерсона, не принуждал себя к ненужным спорам. Подобно трудам Андерсона, эта часть работы Оппенгеймера состоит из исторического синтеза, который основан исключительно на вторичных источниках и вдохновляется теоретическими идеями.

Среди британских писателей предшествующих поколений в аналогичном духе писал только Джон Маккиннон Робертсон. Но к сожалению, большинство его трудов было напечатано в незавершённом состоянии, поскольку ему не повезло так, как Андерсону, он был вынужден бросить школу в 14 лет, зарабатывать на жизнь случайными подработками; не исключено, что некоторые из них даже стимулировали, но все же отнимали время³.

При сравнении трудов Андерсона с работами указанных авторов можно увидеть серьёзное приращение знания об истории учреждений, условиях и структурах, которое произошло в последние десятилетия. Отличие современного положения дел от ситуации сорокалетней давности особенно заметно, если речь идёт об истории неевропейских стран, которая поисти-

³ О Робертсоне см.: Page 1984; Wells 1987.

не была *terra incognita* во времена Макса Вебера, большая часть достижений которого вытекала из его способности извлекать важные идеи из скудных источников. С учётом публикации серьёзных книг и статей обо всех частях земного шара попытка подражать Веберу в этой сфере стала бы саморазрушительной. Но это не значит, что проблема синтеза истории и социологии упростилась, поскольку наличие множества капитальных исследований порождает необходимость их изучения – и в этом смысле работа Андерсона вызывает восхищение. Казалось, что выпускник (с отличием) русского отделения университета Ридинг обратится к восточноевропейской историографии, но Андерсон использует также итальянскую и испанскую литературу. Он прочитал все лучшие книги и статьи по всем периодам и областям, с которыми я знаком.

Несмотря на европоцентристский крен при обращении к странам Азии в основном в качестве подтверждения (им уделено менее одной десятой всего объёма печати), Андерсон абсолютно беспристрастен относительно значения отдельных регионов Европы. В отличие от традиционной британской историографии, примером которой служит *«История Европы»* Герберта Фишера, он обращается ко всем отдалённым уголкам Европы, будь то Балканы или Скандинавия. Поэтому странно, что он ничего не говорит об Ирландии и Шотландии.

Возможно, работу Андерсона лучше всего определить как «эволюционную историю», используя этот термин в том смысле, какой придал ему Фредерик Дж. Теггарт в его замечательной книге *«Прологомены к истории»* (Prolegomena to History). В этой книге (опубликованной в Калифорнии в 1918 г.) Теггарт проводит различие между нарративной историографией и подходом, который связан с ответом на вопрос: почему определённая последовательность форм и объяснений данных форм сменяли друг друга именно таким, а не иным образом? В этом смысле «эволюция» есть развёртывание последовательных форм (или структур), которые (в отличие от точки зрения Герберта Спенсера) не должны следовать установленному образцу или стремиться к одной цели. Слово «происхождение», которое стоит в названии второго тома, показывает, что именно этот существенный пункт имел в виду Андерсон. Его работа также объясняет, почему описанные формы или структуры развивались одна из другой, соответствуя тем самым второму критерию Теггарта. Обращаясь в указанных томах только к прошлому, автор знает исходные результаты и, следовательно, не видит необходимости постулировать непроверенные конечные цели эволюции. Но объясняет ли он прошлое?

Большинство дискуссий о сути исторических объяснений искажается необоснованным предположением о том, что они должны существовать, поскольку некоторые историки утверждают наличие различных объяснений одних и тех же явлений и настаивают на том, что выяснение сути исторических объяснений есть дело философов. Однако нередко все зависит от того, что подразумевается под словом «объяснение». Если вслед за Юмом мы сводим его к утверждению, которое «приводит ум в состояние покоя», то нетрудно можно обнаружить множество примеров исторического объяснения – то-есть таких высказываний историков, которые привели свой ум или умы других людей в состояние покоя. Напротив, если мы согласны с любым из определений объяснения, существующих в философии естественных наук, то отсюда вытекает, что ни один историк ещё ничего не объяснил. Причина такой неспособности идентична неспособности извлечь из исторической литературы какие-либо уроки, имеющие практическую ценность, а именно: историки не знают законов, которые устанавливают необходимость любой последовательности описываемых ими событий. Смягчение постулата необходимости требованием вероятности и вытекающего отсюда ожидания вероятностных, а не детерминистских объяснений, не помогает делу: не вероятностные объяснения исторических событий найти сложно, потому что эмпирическая вероятность может быть оценена только на основе наблюдаемых частот событий. Мы обычно соглашаемся с ве-

роятностным объяснением дорожно-транспортного происшествия, когда нам говорят, что водитель был пьян; и одновременно согласны с обобщающим вероятностным суждением на основе миллионов случаев, которые нужно учитывать. Но сколько произошло революций по образцу Великой французской революции? Для спасения слова «объяснение» я предложил в эссе, переизданном в *«Использовании сравнительной социологии»* (1964 г.), термин «возможностное объяснение» – утверждение, которое указывает на необходимое, но не достаточное условие (или антецедент). Такого рода объяснение говорит нам об обстоятельствах, которые сделали возможным это событие, оставляя открытым вопрос: что могло превратить его в неизбежное? – на который даёт ответ детерминистское объяснение. Однако недавно я пришел к выводу: даже указанного смягчения требования с необходимости на возможность недостаточно, чтобы спасти термин «историческое объяснение» от невозможности его применения ко всему корпусу текстов, написанных историками. Это связано с тем, что даже те интерпретации, которые в наибольшей мере заслуживают одобрения в качестве «объяснений», не определяют всеохватывающие общие положения, в силу которых мы могли бы согласиться с тем, что обстоятельства, использованные для объяснения рассматриваемого события, фактически были необходимы или что указанное событие не могло быть осуществлено никаким другим способом.

Исходя из вышеизложенных аргументов можно сделать вывод: все истории – это просто хронологические записи, точки зрения традиционных историков, несмотря на логически несовместимое с этой ситуацией утверждение некоторых о том, что можно извлечь нечто полезное из истории. И все же существует различие между чистым повествованием (например, Фишера), и попыткой Андерсона показать «естественное» развитие форм и структур друг из друга. Его аргумент довольно неопределённый (но это не значит, что он более неопределённый, чем аналогичные аргументы других авторов) и его можно определить как несистематическое отражение каузальных отношений. Однако этот аргумент последовательно ослабляет возможный предрассудок: эволюционные линии, которые он устанавливает, могли быть настолько же случайными, как и последовательности событий в истории Фишера. Чтобы отличить этот вид связного толкования от повествования, я предлагаю назвать его «правдоподобным объяснением». Под этим я имею в виду ряд утверждений, которые устанавливают такие атрибуты конфигурации А и последующей конфигурации В, которые не удивляют нас (в свете наших приблизительных знаний о том, как «устроены» общества), что за А последовало В. Наоборот, мы были бы удивлены, если бы за А последовало нечто совершенно отличное от В; и было бы не менее удивительно узнать, что В предшествовало нечто совсем отличное от А. История, которая предлагает такие правдоподобные объяснения разворачивания форм (или структур), заслуживает того, чтобы её называли «эволюционной» историей в силу сходства с отчётами об эволюции видов, которые также дают скорее дескриптивные, чем детерминистские объяснения.

Остаётся добавить, что эволюционная история (как я её понимаю после Теггарта) представляет собой нечто большее, чем «история структур», которую Фернан Бродель отличает от «истории конъюнктур», имеющей дело с событиями, а не с условиями. В эволюционной истории структуры и их трансформации должны быть не только описаны, но и объяснены, хотя бы правдоподобно. Однако большая часть экономической и социальной истории является неэволюционной и даже неструктурной из-за отсутствия в ней целостного подхода. Например, *«Социальная история Англии»* (Social History of England) Тревельяна состоит из ряда статических описаний условий и не является ни эволюционной, ни структурной, хотя и не сводится к набору случайных событий. Отличительное свойство томов Андерсона заключается в том, что они предлагают наиболее эволюционную интерпретацию широкой хронологической и пространственной панорамы из всех, когда-либо созданных.

Когда мы изучаем работы Макса Вебера, его тома о Китае, Индии, или «*Аграрные отношения в античности*» (*The Agrarian Relations in Antiquity*), нетрудно понять, почему его считают великим теоретиком. Причина состоит в том, что Вебер – помимо анализа и обобщения фактических данных ради создания целостной картины, показывающей различные отношения взаимозависимости – высказывает множество общих положений, сформулированных случайным образом и включённых в объяснения практических условий или событий. В этом смысле Андерсон не является теоретиком, потому что общие положения, которые он принимает или изредка приводит в ходе объяснения постоянства или изменения, входят в унаследованный запас теоретических идей. В отличие от Маркса, Вебера или Джона Маккиннона Робертсона он мало что к ним добавляет. Его достижения основаны на умелом использовании значительной части этого наследства для проведения собственного обширного эволюционного исследования. Вряд ли могло быть иначе, потому что невозможно выдвинуть (и даже постичь) новые теории, если верить в то, что истинная теория была открыта основателем более 100 лет назад, что её можно изменять, но отменить нельзя.

Видимо, только чувство религиозной или квазирелигиозной миссии может побудить британского историка отказаться от рамок исторической традиции Оксбриджа и взять на себя задачу такого масштаба, которая неизбежно чревата опасностью серьёзных ошибок. Другим показательным примером британского ученого, который в последнее время изготовил опросный лист (не учебник или популярное изложение) такого же масштаба как Андерсон, является католический историк Кристофер Доусон. Его лучший том – «*Эпоха Богов*» (*The Age of Gods*) (1928) – охватывает эру, которой пренебрёг Андерсон; и среди прочего он предлагает такую интерпретацию дохристианских религий, которую должен приветствовать любой сторонник экономической (или материалистической) интерпретации истории. В томах о христианской эре Доусон придерживается более «идеалистического» подхода.

Маркс обладал мощным интеллектом и огромной эрудицией, и потому никогда не писал ничего совершенно необоснованного о том, что уже произошло; но в качестве обычного человек он не мог предвидеть будущее, о котором высказал пару верных догадок, наряду с множеством ошибочных предположений. Таким образом, анализируя период времени вплоть до смерти Маркса, можно писать вполне рационально и избегать грубых искажений аргументов, а также необходимости категорически противоречить основателю. Наоборот, при отражении более позднего времени, ученик должен жертвовать либо собственным умом и честностью, либо своей верой в пророческие силы основателя. Андерсон избежал этой дилеммы, отказавшись от своей докторской диссертации о Латинской Америке и приняв решение написать эти книги. Видимо, его отказ от описания Древнего Ближнего Востока можно также объяснить нежеланием столкнуться с неизбежностью прямого отказа от веры основателя в то, что на смену первобытному коммунизму пришла экономика, основанная на рабстве. В те времена, когда этнография и археология делали только первые шаги, когда папирусы ещё не были расшифрованы и раскопки проводились в малом объёме, это было не столь абсурдно. Качество сравнительного анализа абсолютизма – второй том Андерсона не только больше по объёму, но и лучше по качеству – наверняка связано с тем фактом, что основатель, как и главные апостолы, признавали существование такого типа государства, но при этом очень мало писали об нем, переходя прямо от феодализма к капитализму.

Теоретические послышки Андерсона – его представления о том, что важно, что от чего зависит, что может вызвать нечто, – исходят из накопленного общего запаса социологических идей. Но в сфере теории он считает себя обязанным только Марксу. Чтобы отдать этот долг, Андерсон иногда признает, что основатель марксизма действительно впоследствии изменил свою точку зрения и немного ошибался в частности. Он даже ретуширует Марксову концепцию азиатского способа производства. Этой теме он посвятил яркую главу, в которой

содержится единственный случай оскорбления во всей книге: вылазку против марксиста-отступника и перекрашенного «спенсерианца» Карла Августа Виттфогеля. Однако в молодые годы Виттфогель играл среди марксистов роль, похожую на роль Андерсона, и не осталось никаких подтверждений того, что Виттфогель когда-либо читал Спенсера. Видимо, главный грех Спенсера состоял в том, что он был знаменит и влиятелен уже при жизни, в то время как его современник Маркс до смерти повлиял лишь на узкий круг читателей.

Несмотря на гениальность, работа Андерсона пренебрегает анализом идеологических факторов, ложность которых связана с употреблением категории «способ производства». Автор продолжает говорить о «феодальном способе производства», хотя при анализе превосходства японского феодализма он принимает общее мнение о том, что рассредоточение децентрализации власти является существенной чертой феодализма. Эта последняя особенность влияет на распределение богатства более непосредственно, чем на производство; и колебания между абсолютной концентрацией и феодальной или феодалоидной дисперсией власти не соответствуют столь же радикальным изменениям в способе производства. Крестьяне и ремесленники производили товары почти таким же образом в феодально раздробленной Италии под лангобардами и в централизованной бюрократической Византийской империи. Граница между русским деспотизмом и крайне феодальным республиканским королевством Польши и Литвы не породила значительных различий в способе производства, как сельскохозяйственного, так и ремесленного. Несмотря на название, глава об «Азиатском способе производства» содержит намного меньше сведений о методах производства, чем о структурах власти. Власть – главный объект интереса (по крайней мере, теоретического) и лучше всего проанализирована Андресоном. Власти уделяется основное внимание во всей работе. Однако сосредоточенность на священном слове приводит Андерсона к самой серьезной ошибке: недооценке роли церкви в развитии уникальных характеристик европейской цивилизации. До XVII в. и даже XVIII в. западноевропейский способ производства ничем не отличался от остальных, тогда как независимость Церкви и последующее разделение власти между церковной и светской иерархиями не имели аналогов в других частях мира. Без этой отправной точки трудно понять, как могли развиваться гражданские свободы, представительные институты, наука, техника и промышленный капитализм.

Несмотря на пределы, вызванные эмоциональной привязанностью автора к дедушке Карлу, книга все же заслуживает одобрения как наиболее социологически ориентированный обзор мировой истории. И все её трудно рекомендовать всем сердцем по причине опасения, что так называемый эффект ореола восхищения знаниями и умом автора побудит недостаточно критичных читателей подражать его склонности к сектантству, хотя с научной точки зрения превосходство историографической концепции Андерсона не является более сильной опорой для марксистской догмы, чем взгляд на историю Кристофера Доусона для истины католического вероучения.

Связь между трудом Андерсона как историка и его происхождением от марксистской догмы не является логической, а психологической; и единственным способом доказательства, который мог бы на это пролить свет, является психоанализ. Можно предположить, что подобно тому, как среди католиков вождение и грех способствовали раскаянию и пылкой молитве, так и среди марксистов должно возникать жгучее чувство корпоративной принадлежности, необходимое для получения привилегий и образования в Итоне и Баллиол-колледже. Кроме того, написав труд, намного превосходящий обычную научную книгу, Андерсон должен ощущать вину за столь элитарное выступление, и его марксистские молитвы вполне могут рассматриваться как попытки изгнания из корпорации. Книгу можно сравнить с внушительным храмом знаний, изуродованным самим архитектором непристойно сектантскими граффити в нечётных углах.

Глава 7. Фашисты и прежние правящие классы

В последнее время стало модным объяснять рост фашистских движений процессом по имени «мобилизация». Однако этот термин неудачен, так как содержит тенденцию к смешиванию двух совершенно разных этапов: физического перемещения, когда люди покидают свои дома и становятся доступными для интеграции в новые группы; фактической вербовки в эти группы, которой занимались фашистские и коммунистические партии. Только последний этап – когда члены партии способны к коллективным действиям – можно по праву называть мобилизацией. Первую стадию было бы вернее описывать как отрыв от корней или превращение людей в социально мобильных. Суть первого этапа состоит в том, что люди уже оторваны от корней, но ещё не мобилизованы в том смысле вербовки и распределения по группам.

При обсуждении отношений между фашизмом и классами надо проводить различие между социальными движениями и режимы, а также между типами режимов. Ибо есть существенное различие между режимом, который создан массовым движением, и режимом, который создан путём добровольного или принудительного подражания иностранной модели. Например, режим Варгаса в Бразилии скопировал определённые черты итальянского фашизма, но не достиг власти при поддержке массового движения; в результате его отношение к классовой структуре неизбежно отличалось от нацистского движения в Германии и оригинального итальянского прототипа фашизма.

Наиболее надёжный подход к классификации фашистских движений, который учитывает их отношение к прежним элитам, предложен Хью Сетон-Ватсоном в статье «Фашизм – левый и правый» (*Journal of Contemporary History, Vol. I, No. 1*) (1966 г.), см. также «Политический человек» (*Political Man*) Сеймура Липсета (1966 г.). Единственный недостаток этого подхода состоит в том, что термины «левый» и «правый» не подходят для политического анализа, поскольку они предполагают, что все политические движения могут быть классифицированы по одному измерению, тогда как на деле таких измерений несколько. Для пояснения того, что их можно классифицировать также по другим измерениям, я бы предпочёл классифицировать фашистские движения как «популистские» или «проистеблишментские». Действительно, сущность фашизма сводится к вере в необходимость или хотя бы в достоинства и преимущества правления хорошо избранной элиты. Но фашистские движения сильно различались по степени отождествления такой идеальной элиты с установившимися правящими классами. Фактически отношение к истеблишменту можно использовать в качестве критерия для проведения различия между ветвями фашизма, начиная от режима Франко, с одной стороны, с его явно реакционной в подлинном смысле этого слова программой восстановления землевладения аристократии и церковной иерархии, до румынской «Железной гвардии», с другой стороны, которая в качестве движения была полностью направлена против истеблишмента, а за несколько месяцев нахождения у власти выступили против интересов прежнего истеблишмента. Польша представляет собой интересный случай ввиду сложности ситуации. Здесь существовала только фашистская партия с внутренним расколом, которая, несмотря на согласие со многими нацистскими идеями, оставалась твердо антинацистской (по причине пограничной проблемы) и была полна решимости бороться с нацистами собственным оружием. Но наряду с этой подлинно фашистской партией, существовали две полуфашистские. С одной стороны, была националистическая партия, которая все сильнее признавала атрибуты фашизма (идеология, организация, цветные рубашки, нацистское приветствие), но, поскольку у неё не было власти, она оставалась анти-истеблишментской. С другой стороны, было правительство, которое возникло из военной диктатуры Пилсудского, но которое после его смерти также начало использовать некоторые атрибуты фашизма.

Таким образом, в Польше было два полуфашистских движения, которые кажутся похожими во многих отношениях, но которые надо классифицировать по-разному в зависимости от их отношения к истеблишменту. Тот же критерий можно использовать для сравнения нацистской Германии с фашистской Италией: нацисты были большими противниками прежних правящих классов, то есть бывшего истеблишмента, который они частично ликвидировали в 1944 г.

Возникает и другой вопрос: почему высшие классы позволили нацистам захватить власть? В какой-то степени марксистский ответ был верным. В Италии и Германии, да и вообще во всех случаях установления фашистского режима, правящий класс был слишком слаб для сохранения своего собственного положения, и потому рассматривал фашизм как меньшее зло. Сегодня без всякого труда можно впасть в недооценку трудностей положения правящих классов, потому что в настоящее время капитализм функционирует почти без всяких помех. В 1920-е и даже в 1930-е гг. люди действительно не знали, как справиться с экономическим кризисом. С учётом сложности ситуации гораздо легче понять, почему правящие классы выбрали то, что они считали меньшим злом. Немецкие консерваторы (включая крупных промышленников и юнкерство), презирали Гитлера, но думали, что он сослужит им хорошую службу. На самом деле, идеальными условиями для возникновения фашизма были перепуганный высший класс, крайне неуверенный в своей способности справиться с ситуацией, и очень сильное рабочее движение, особенно если оно было настолько радикальным, что стремилось установить диктатуру. Примечательно, что фашизм возник не на юге Италии, а на севере, где у угнетённых классов был высокий революционный потенциал, а класс капиталистов находился в худшем положении, чем аристократия на юге. Случай Испании является одним из полуфашистских, поскольку *Фаланга* – единственное истинно фашистское движение, – не имело большого веса. Главной основой режима была армия и духовенство. При желании классифицировать испанский фашизм можно назвать военно-духовным полуфашизмом, в котором священнослужители и офицеры выполняют все ещё (хотя и весьма осторожно) функции, которые в других местах выполняла военизированная партия [написано в 1967 г.]. Испания явно не управляется тоталитарной партией, а её режим не является чисто военной диктатурой старомодного типа, поскольку здесь проявляются некоторые тоталитарные тенденции, которые отличаются от военного режима Примо де Риверы или режима Пилсудского. Этот режим стремился «настраивать» массы и все более расширять свой контроль по сравнению с предшествующими военными диктатурами. Эта особенность испанского режима может рассматриваться как симптом реакции духовенства, аристократии и генералов на неспособность удержаться у власти традиционными средствами за время существования Республики.

Испанский случай хорошо фиксирует противоречие между двумя существенными элементами фашизма: вера в иерархию и агрессивный национализм. Агрессивный национализм явно нуждается в иерархии. Но ради успеха национализма люди должны действительно верить в необходимость иерархии, а не считать её элементарной защитой привилегий богатых. Можно даже выдвинуть гипотезу: чем сильнее приверженность фашистского движения к высшему классу, тем меньше оно способно мобилизовать массовые настроения в агрессивных целях. При сравнении Италии с Германией становится ясно, что итальянские фашисты не смогли мобилизовать массы в психологическом смысле. Разумеется, они могли зачислять людей в партию и другие фашистские организации, но выступление итальянской армии является доказательством неспособности фашистов внушать массам свои идеи. Итальянцы просто не хотели воевать – полное объяснение этого было бы чрезвычайно сложным, и нам, вероятно, пришлось бы принять во внимание возможные объяснения векового скептицизма в Италии по отношению к правителям и правительству, скептицизм, который усугублялся

нестабильностью, иностранной эксплуатацией и своеобразным характером конфликта между церковью и государством. Но крах итальянских фашистов контрастирует с успехами нацистов в воспитании масс. Пожалуй, о степени этого успеха можно судить по случайному замечанию Карла Ясперса о том, что назначение Кисинжера было оскорблением для миллиона немцев, которые никогда не поддерживали нацистов, что подразумевало: по мнению Ясперса, все остальные немцы поддерживали фашистов в тем или иные моменты.

Несомненно, нацисты были сторонниками реального социального прогресса для многих классов. Прежде всего они повысили статус рабочих, укрепили у них ощущение социальной значимости и принадлежности к нации, культивируя чувство «психологического равенства», организовывая экскурсии и шествия, в ходе которых управляющий банком маршировал вместе с клерками и выкрикивая с ними “Heil Hitler”. Кроме того, нацисты смогли вытеснить чувство социальной обиды у рабочих, настраивая их вначале против евреев, а затем против врагов, которых атаковали по очереди. Не менее важно то, что они способствовали продвижению людей из социальных низов. В отличие от Первой мировой войны, некоторые из лучших нацистских генералов были не юнкерами, а выходцами из низших классов. Это частично объясняет лояльность офицерского корпуса Гитлеру, хотя положение юнкеров в Вермахте оставалось чрезвычайно сильным. Однако в высшей партийной элите НСДАП практически не было членов старого истеблишмента; показательно, что ни один из множества молодых аристократов, торопливо вступавших в нацистскую партию, не смог достичь высоких постов. Казалось бы, это опять характеризует систему, которая изначально была враждебной прежнему истеблишменту, несмотря на уступки финансистам и генералам. Нацисты весьма тщательно продумывали свои планы на послевоенное будущее, были направлены на создание совершенно иного общества.

Упор нацистов на необходимость жизненного пространства не был простым пропагандистским приёмом. Он действительно всколыхнул массы немецкого населения, убедив их в жизненной необходимости. Если не забывать общую атмосферу представлений в начале 1930-х гг. и очевидный крах капиталистической системы, нетрудно понять, почему немцам не нравились страны с колониями, которые, на первый взгляд, гораздо лучше переносили экономический кризис. Колонии, или жизненное пространство на Востоке, показались многим немцам лучшим способом решения их экономических проблем. Не следует забывать, что фашизм успешно развивался в высокоразвитых промышленных странах, у которых было мало или вообще не было колоний – Италии, Германии и Японии (если есть основания называть последний случай фашистским). Программа завоевания земель на Востоке позволила фашистским лидерам вытеснить классовые антагонизмы – в дополнение к предложению простого способа решения экономических проблем. Если кто-то желает следовать моде, указанную связь между внутренним согласием и внешней агрессией можно выразить на квазиматематическом языке теории игр. В этом отношении борьба за собственное положение есть игра с нулевой суммой, то есть игрок может выиграть только при условии проигрыша других. Однако если сфера деятельности участников борьбы выходит за пределы первичного круга путём нападения на посторонних, все члены исходного круга могут получить какую-то выгоду. Тем самым «игра с нулевой суммой» преобразуется в «игру с ненулевой суммой» для людей в исходном составе, которые могут коллективно улучшить свой статус, ослабляя статус аутсайдеров. Возможно, это помогает объяснить относительную неприкосновенность к фашизму тех стран, в которых были колонии. С другой стороны, такие страны, как Англия и Франция, обладали фашистскими движениями, но у них уже был свои козлы отпущения, и они меньше нуждались в этой насильственной и агрессивной форме единоборства. Действительно, случай Португалии может усилить такую точку зрения: относительную стабиль-

ность режима, который очень мало дал португальскому народу, можно объяснить колониальной системой, позволившей всем португальцам чувствовать себя привилегированными.

Социологи всегда были обеспокоены вербовкой партий, утверждая, что фашизм – это преимущественно вытесненное движение среднего или низшего среднего класса. Но я не уверен, что это определяет отношение фашизма к существующему классовому порядку. Сравнение социального происхождения итальянских и немецких партийных лидеров показывает, что различия в социальном происхождении менее важны, чем различия в отношении к истеблишменту и стремлении по-разному изменить общество. Казалось бы, это указывает на то, что традиционные социологические объяснения не удовлетворительны. В Германии было одно из самых мощных рабочих движений в Европе, и в то же время был правящий класс, ослабленный во времена Веймарской республики из-за отсутствия большой армии. Не исключено, что с учётом силы организованного труда только партия, проповедующая крайне радикальные реформы, имела хотя бы минимальный шанс завоевать массовую поддержку.

Конечно, психологическая компенсация и ему подобные факторы важны. Ясно, что во времена быстрого обнищания во всех классах генерируются различные взрывные силы, в том числе в классах с фиксированным доходом. Неслучайно почти все фашистские и даже такие полуфашистские движения, как радикальная националистическая партия Польши или бразильские *интегралисты*, приобретали больше последователей во времена мирового экономического кризиса. Несомненно, потребность в поддержке и жажда твёрдой идеологической ориентации всегда играли свою роль, но при этом не следует недооценивать мотивирующую силу крайнего отчаяния как следствия потери работы или банкротства, которое побудило многих людей последовать за самозванцем, утверждающим, что он знает, где найти спасение.

*Перевод с английского А.Г. Акоюн
Научная редакция В.П. Макаренко*

Anderson P. 1974a. *Passages from Antiquity to Feudalism*. – London: NLB (рус. перевод: Андерсон П. *Переходы от античности к феодализму*. – М.: Территория будущего, 2007).

Anderson P. 1974b. *Lineages of the Absolutist State*. – London: NLB (рус. перевод: Андерсон П. *Родословная абсолютистского государства*. – М.: Территория будущего, 2010).

Andreski St. 1992. *Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint*. – London: Frank Cass.

Page M. 1984. *Britain's Unknown Genius*. – London: South Place Ethical Society.

Wells G.A. (eds.) 1987. *J.M. Robertson*. – London: Pemberton Publishing Co.